

Глаза, Евгений Замятин

— Ты — собака.

Шелудивый тулуп — был, быть может, белый. На хвосте, в обвислых патлах, навек засели репьи. Одно ухо-лопух вывернуто наизнанку, и нет сноровки даже наладить ухо.

У тебя нету слов: ты можешь только визжать, когда бьют; до хрипу брехать, когда велит хозяин; и выть по ночам на зеленый горький месяц.

Но глаза... зачем у тебя такие прекрасные глаза? Поднимаешь глаза вверх, глядишь глазами в самое мое нутряное нутро, мы говорим глазами в глаза, и я знаю: ты — древняя, мудрая, мудрее нас. Быть может, ты некогда была человеком, и ты им будешь вновь. Но когда же ты будешь?

Седой хозяин держал тебя на цепи, в грязной конуре. Ты лакала помои из грязной черепушки. Ты грызла хозяйские оглодки. И ты ретиво стергла хозяйское добро.

Помнишь: жаркий день, тарантас посеред двора, навалили ковры, самовары — и уехали. Ты ждала. Разгуливала по двору красноухая клюшка, поглядывала одним глазом на коршуна вверх, собирала индюшат под крылья. Накрыла конуру тень от водовозки: тарантас все не возвращался. И помнишь: наутро ты вцепилась в красноухого индюшонка, схрыпала мигом — и только одни белые, обрызганные красным, перья у конуры.

И как потом плеткой-двухвосткой хлестал по глазам хозяин. Совсем близко была его налитая, в седых кустах, морда, но ты не вцепилась: ведь это был хозяин. И только из глаз точились тихие собачьи слезы, пролагали желтые желобки от углов глаз к носу.

А наутро — помнишь? — прижавши морду к земле и засунув хвост между ног, ты по грязи ползла хозяину навстречу, виляя задом, ты лизала хозяину руку. И когда милостиво потрепали по загривку — ты радостно повалилась на спину — прощена! — ты шурилась и дрыгала ногами, ты звенела цепью и наружу вывалила весь свой срам.

От одной с собачьим месивом черепушки до другой — ты меряла время. От жарыни желтел на дворе просвирник. Солнце — огненный пес — распялив красную пасть, пыхало пылом прямо в тебя. Не в силах скинуть шелудивую шубу — ты задыхалась, у своей конуры лежала как мертвая, и только жил, ходил ходуном высунутый наружу язык.

Но пришел во двор — ты помнишь? — щуплый, прыщавый человеческий щенок. Ты забыла все, ты вздыбилась на дыбы — душил ожерелок — хрипела и бешено, с пеной лаяла: прыщавый был чужой, был хозяину недруг, хоть вместе с хозяином заглядывал он в курник, в выход, в каретный сарай.

Больше ты не видела седого хозяина: он непонятно исчез, как вечерами непонятно для тебя исчезало солнце за каретным сараем. Утром — помнишь? тебе принес черепушку уже тот, прыщавый; в черепушке был кус тухлого мяса. С урчанием ты проглотила мясо и, волоча брюхо в пыли, по-червиному, ползла ему навстречу и лизала ему руки, — тому самому, на кого вчера

бешено брызгала пеной: ведь это он, прыщавый, он, великий, повелевал теперь черепушкой. И не все ли равно, кто тобой владеет? Была бы поганая черепушка полна.

Твой новый хозяин – был затейщик. Вечера, – ты помнишь? Пахло из закуты парным молоком, шуршали, приманивались на нашесте куры, а тебя дразнили отрывком сахара и кричали: служи! Как к небу – к слюнявому отрывку сахара – ты поднимала глаза, свои человечесьи глаза, и, звеня цепью, неуклюже плясала на задних лапах из-за слюнявого отрывка сахара. Ты помнишь вечера? На варке богомольно вздыхала корова, хрустела сладкой свекольной ботвой. А тебя для потехи спускали с цепи, травили тебя на кошку: ату ее! И, однажды, – ты помнишь, ты никогда не забудешь: кошка увязла в щели под забором, раз! – прыжок – и ты, урча, уже мотала головой, рвала и вгрызалась в кошкино брюхо, а прыщавый гоготал, и кагакали в куримке взбуженные гуси, индюшки и куры. А потом усталая, у входа в конуру, ты звенела цепью и сосала слюнявый отрывок сахара. Но глаза были зажмурены, чтоб не видно было, что они похожи на человечесьи, и всю ночь ты вздыхала: о чем вздыхала?

От черепушки до черепушки ты меряла время. Твой собачий мир – конуру, водовозку и каретный сарай – накрыло серым, сырым веретнем – осенним небом: ты мокла покорно. Вылезало солнце, в трех багровых студеньях кругах багровое, как кровь загрызенной кошки: ты треской тряслась от стыда. Ты покорно таскала сосульки на шубе; кололи, лечь было нельзя – ты покорно таскала, пока сами собой не растопились сосульки, пока юркие, как ящерки, не зажурчали ручьи, не поволокли навозные комья вон со двора. Своими глазами человечесьими – ты глядела весь день на солнце, за солнцем ходила кругом конуры – ходила весь день, звенела ржавой цепью. И закрутилась, запуталась вокруг шеи, ты рванула – и лопнула цепь.

Секунду стояла остолбенело – и эх! – взвилась. Через забор, по тальм сугробам, с мокрым брюхом – пар валом валит – ты носилась, пьяная от солнца, от воли, от чуть приметного парного курева земли из-под снега. И где-то под голым, черным еще, переплетом сирени на синем небе, где-то ночью в проулке, на кучах теплой золы, среди пьяных весною и волей...

Черепушки не было, нечем было измерить время: может – день, может месяц. Но это не был день: уж слишком жестоко голод закорючивал в брюхе кишки.

И ты помнишь: ветер с духом горьких сиреневых почек, на заборе взгальный галочий гам. Облезлым боком ты вжималась в самый мокрый забор и, засунув хвост между ног, плелась, плелась. Оборванная цепь лязгала по земли.

На дворе – огарнули тебя с гоготаньем: ага-а! Ты легла у старой конуры и подставила шею. Прыщавый напялил на тебя новый, сверкающий ожерелок – с веселым, звонким бубенчиком – и новую цепь. К морде пододвинули черепушку – в ней громадный кус тухлого мяса. И помнишь? – ты лопала, ты жрала, ты трескала – пока не раздулась.

Прыщавый милостиво потрепал тебя по загривку, ты повалилась на спину и задрыгала всеми четырьмя ногами, позванивая цепью и веселым бубенчиком на ожерелке. Ты лизала руки хозяину. Ты налопалась до отвалу – и что тебе цепь? Ведь ты – дворняга.

У тебя нету слов. Ты только можешь визжать, когда бьют; с хрипом грызть, кого прикажет хозяин; и выть по ночам на горький зеленый месяц.

Но зачем же у тебя такие прекрасные глаза? И в глазах, на дне — такая человечья грустная мудрость?

1917 год